

О судьбе отца — астронома и астрофизика Николая Александровича Козырева

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1588>

21 апреля 2013

Собеседник

Козырев Дмитрий Николаевич

Ведущий

Скляревская Инна Робертовна

Дата записи

Беседа записана 21 апреля 2013 и опубликована 12 августа 2014.

Введение

Философ Дмитрий Николаевич Козырев — один из четырех сыновей астронома и астрофизика Николая Александровича Козырева.

Вся беседа целиком посвящена рассказу о Николае Александровиче. Дмитрий Николаевич основывается не только на своих воспоминаниях, но и пересказывает воспоминания его друзей и истории, услышанные им от отца. Большой частью речь идет о том, как отец Дмитрия Николаевича отбывал два своих тюремных срока: первый раз он был арестован и осужден на десять лет лишения свободы в рамках «Пулковского дела» (1936—1937 годы), второй срок он получил уже в тюрьме, в 1941 году, якобы за враждебную агитацию среди заключенных, причем в вину ему ставилось в том числе то, что он «не согласен с мнением Энгельса о том, что Ньютон — индуктивный осел, считает Есенина хорошим поэтом, является сторонником идеалистической теории расширяющейся Вселенной».

Дмитрий Николаевич пересказывает истории отца о «Пулковском деле», Дмитровском центре, работе начальником мерзлотной станции в центре Эвенкийской тайги (Николай Александрович занял эту должность, будучи расконвоированным заключенным); рассказывает о его друзьях — В.Г. Бере, Д.А. Толстом, Л.Н. Гумилеве.

Дмитрий Николаевич Козырев: Мне хотелось бы сказать, что в наши дни начинается очень важная работа по восстановлению исторической памяти. Потому что если эта нить прервется, то очень большая опасность заключается в том, что мы потеряем собственное лицо, потеряем память о тех людях, на которых мы можем равняться. Сейчас выходят сборники, посвященные новомученикам, и многие пишут о том, что люди, почти наши современники, которых мы, в общем, могли бы знать, может быть, знаем их внуков, правнуков, восстанавливаем их облик. Однако они переживали испытания, которые представляются совершенно нечеловеческими на наш взгляд.

Советские новомученики

Трагедия, которая выпала на нашу страну, центрируется в проблемах новомучеников. Однако много людей, пострадавших и выдержавших чудовищные, нечеловеческие испытания, собственно говоря, в этот ряд не входят, но память о них необходимо хранить. Вот в пример можно привести погибших астрономов Пулковской обсерватории, арестованных в 36-м — 37-м годах. Не только Пулковской обсерватории: там был еще радиофизический институт, где-то, по-моему, порядка 50 человек арестовано в 36-м году. И мой отец, Николай Александрович Козырев, — единственный, кто выжил, из всех: остальные были расстреляны или погибли в лагерях. Вот память об этих людях должна сохраняться. Не должна кровь уходить в песок. Мы должны помнить. Это первый момент.

Но самое главное, что те, кто вышел из этого ада, они, в общем, в той или иной степени получили новое рождение, конечно. И когда я пытаюсь вспомнить первое такое вот ощущение, главное, что у меня связано с памятью отца, — это, конечно, ощущение удивительного величия, которое от него исходило, причем величия очень скромного, сдержанного и удивительно теплого, которое распространяло доброжелательность на всех тех людей, кто попадал в его окружение. Вот это ощущение настоящей жизни, подлинного, очевидно, бытия, которое он распространял, — по-видимому, первое и самое главное, что я могу в этой ситуации вспомнить.

Я помню его рассказ о том, каким большим трудом ему давалось изменение мировоззрения. Потому что в 28 лет, когда ему было, когда его арестовали, он находился под очень сильным влиянием господствовавших тогда атеистических идей.

” Рассказывал, что как раз незадолго до ареста он снял икону Александра Невского, которая висела у него в память об отце, Александре Адриановиче. Снял, потому что Ландау, Гамов и другие люди приходили к нему в квартиру, и это было как-то по тем временам неудобно.

С каким трудом, с каким мучением он изменял вот это свое настроение. Он рассказывал, что на протяжении вот этих сибирских переживаний в его жизни было несколько случаев, когда он просто находился не на грани смерти, а смерть была наиболее вероятным выходом из ситуации, и постоянная какая-то удивительная сила его из этих ситуаций выводила. Поэтому отрицание существования верховной благодатной силы было бы для него проявлением неблагодарности. Он много раз об этом говорил.

Орловский централ. Норильские лагеря

Страшные рассказы, которые остались у меня с детства, с юности, рассказы о тех тюрьмах, в первую очередь, конечно, о том страшном Орловском централе, в котором он находился в 38-м году сразу после приговора суда. Это было место, где люди фактически угасали, и когда в 39-м году был приказ вывозить в Сибирь из этого [ада], то он видел, как выходили из этих камер слепые люди, ослепшие от состояния,

в котором там они находились. Это было очень страшно, он говорит. И у самого у него в тот момент пошли бельма по глазам, и он вспомнил рассказ Чехова, как крестьянин спас свою лошадь тем, что засыпал сахарную пудру ей в глаза. И он смог кусочки сахара, которые иногда им давали, растереть и таким образом, засыпая в глаза, себе глаза спас.

Страшная история, которая связана как раз именно с карцером. Заключение в карцер практически означало смерть, — вызванное надуманным предлогом (якобы ходил по камере!) — описано как раз у Александра Исаевича Солженицына, но там акцент психологический немножечко смещен. Акцент на то, что, якобы, когда охранники перепутали время, сказали, что сейчас осталось ему еще сутки, хотя время карцера вышло... Это был абсолютно ледяной ящик, с глубокой минусовой температурой. Как он смог выдержать эти двое суток, сам он не понимал. Так вот, когда эти конвоиры решили его спровоцировать на протест, он промолчал. Солженицын пишет, что это было смирение. Но отец говорит, что это было не смирение, это было четкое понимание: вот сейчас, в данный момент, еще раз решается проблема жизни и смерти. Потом таких случаев было еще много. Он рассказывал, что он тонул в Енисее, и спасение тоже было просто невероятным. Зимой, когда он шел по льду Енисея, провалился в трещину глубиной три или четыре метра. И в этой ситуации его никто не мог спасти. Он вспомнил как раз слова якута из Короленко, из рассказа Короленко: «Однако погибать буду». Но собрав всю свою волю, он начал нагревать дыханием границы этой трещины и делать ступени, с тем, чтобы можно было подняться, и через несколько часов из нее вышел. Вот это тоже был такой случай, который он вспоминал потом, как попадание в такую страшную пропасть земли, и спасение тоже было для него чудесным.

В те годы как раз Сибирь осваивалась, и осваивалась силами заключенных. В основном шли геологоразведки. И удивительно, что в биографии Николая Александровича есть такая поразительная страница: два года фактически он находился в центре огромного таежного района, где ближайшая точка, где жили люди, находилась на расстоянии порядка ста километров... эти фактории. В таком состоянии просто джек-лондонских героев, он со своими рабочими зимой — а зимы там страшные, там 55, 60 градусов было даже температуры, — должен был проводить магнитосъемку. И в этих условиях он при этом при всем не оставлял научной работы, что поразительно. Чем-то это напоминает немножко Тейяра де Шардена, который как раз во время войны находился в Китае, отрезанный от всех, и там пришел к своим основным идеям. Так вот здесь работа была тоже именно под звездами, в полном одиночестве, в такой страшной сибирской тайге. Приходилось охотиться, потому что на фактории давали, конечно, определенную там порцию муки, чая и так далее, но в основном приходилось все своими руками добывать. И в этой ситуации, конечно, в нем возникло вот это космическое чувство, которое он потом выразил, безусловно, как раз вот в этой своей основной, главной работе. Прикосновение к космосу послужило рождением теории времени, которая еще недостаточно оценена, но которая, безусловно, представляет собой следующий шаг после того, что сделал Ньютон и что сделал Эйнштейн.

Норильские лагеря в то время разделяли участь всех остальных лагерей, в том числе, что как раз перед тем, как он был расконвоирован, он попал еще под страшный каток репрессий 41-го года. Тогда был негласный приказ сократить количество заключенных, и по обвинению в контрреволюционной пропаганде были арестованы — в основном по доносам, те, которые под донос попадали, — и, в общем-то, были разделены на две партии: первая партия была сплошь расстреляна, 100% был расстрел, а отец попал во вторую партию в 41-м году, в конце 41-го года. И, в общем-то, ему удалось выступить на суде, причем на суде так показать несостоятельность того, что против него выдвигали.

Вот. Был по-своему замечательный совершенно как раз тогда эпизод в его жизни — суд. В Норильске помнят об этом суде, потому что он держал блестящую речь защитительную.



Среди обвинений со слов лжесвидетелей были удивительные показания тогда: «Не согласен с мнением Энгельса о том, что Ньютон — индуктивный осел». Вот прокурор потребовал согласия с этим утверждением.

Но вот отец решительно сказал, что это высказывание было Энгельсом написано на полях и не предназначалось для печати. Такой был ответ на высоте. И обвинения там были: «Считает Есенина хорошим поэтом», что самое поразительное, «Является сторонником идеалистической теории расширяющейся Вселенной». В Норильске в 41-м году очень интересное такое было обвинение. Ему добавили 10 лет, и через некоторое время его вызвали с тем, чтобы подписать бумагу, пришедшую из Верховного суда РСФСР. Он посмотрел на эту бумагу и похолодел: что Верховный суд РСФСР отменяет решение Таймырского суда и приговаривает к высшей мере. «Распишитесь, пожалуйста». Расписался, вышел, несколько шатаясь; навстречу шел Лев Николаевич Гумилёв, тоже заключенный в то время. На вопрос, что произошло, почему такой бледный, получил ответ, и тогда Гумилёв сказал: «Дайте вашу руку, я вам все скажу, я вам скажу все, что вижу по руке». Льва Николаевича Анна Андреевна как раз этому всему очень хорошо научила. Посмотрел на руку и сказал: «Спите спокойно». Спать спокойно было, конечно, достаточно трудно, в это время, но через то ли две недели, то ли три, пришло постановление Верховного суда СССР, которое отменило решение Верховного суда РСФСР и оставило в силе решение Таймырского суда. Эту вот историю иногда я слышал в разных преломлениях, но это действительно было именно так насчет Гумилёва.

Работа на мерзлотной станции и в геологической экспедиции

С Гумилёвым они вместе действительно работали в одной партии, но Гумилёв не выдержал этой ситуации, сибирских условий, и решил, что лучше пойти на фронт, чем испытывать такого рода мучения, потому что то, что кажется со стороны романтикой, в реальности представлялось, конечно, сплошным кошмаром. Представить себе в шестидесятиградусный мороз залезать на деревья с тем, чтобы мерить как раз этим самым магнитометром градиент и по градиенту определять глубину залегания магнитной руды. Кстати, эту формулу сам отец впервые и вывел и предложил этот метод вертикального измерения. Он всюду, где в этой ситуации была нужна ясность математического ума, сразу ее проявлял. Он говорил, что сразу, когда его поставили начальником мерзлотной станции, он вывел формулу, по которой можно было измерять толщину льда на Енисее. Он говорит, что формула эта оказалась очень простой, труда она ему не составляла, но поразительно, что он вот этот свой необычайный физико-математический талант в тех условиях применял, причем применял с блеском.

Одна из таких очень серьезных историй, серьезное испытание как раз выпало в те годы, когда он находился именно в центре Эвенкийской тайги. Это был где-то то ли 43-й, то ли 44-й год. Оттуда уехал он — вызвали его оттуда телеграммой, что в Москве начался пересмотр дела, — 14 марта 45-го года. Значит, это все было, по-видимому, может, в 44-м, а может в 45-м году, в начале. Зима там длинная, долгая, и фактории, в которых такая сосредотачивалась жизнь, действительно, располагались по берегам рек, и добираться до них из мест экспедиции было сложно. Действительно, там счет шел на десятки километров, иногда даже на сотни. Один раз, после долгого дня пути, когда нужно было идти в факторию за мукой, как раз отец решил вечером заночевать, с тем, чтобы утром двинуться дальше. А усталость была уже совершенно предельная, нужно было нарубить валежник, устроить костер и там переночевать. И когда он начал рубить ветки, то топор сломался и ушел в снег. Эта ситуация была очень плохой, потому что в снегу его найти невозможно, топора, костер ему не разжечь, усталость смертельная, а до фактории фактически 40 километров еще, что-то в таком духе. Он решил, что надо идти. И этот вот переход он описывал, как один из самых важных моментов в своей жизни, потому что в конце сил на шаг уже не доставало — просто на один шаг. Но он говорил так: что если я сделал предшествующий шаг,

то я должен сделать еще один. И вот это движение было — я сейчас точно не помню — целый день, потом еще ночь, потом еще целый день, человек уже был абсолютно изможден и истощен, и вдруг, говорит, услышал лай собак и понял, что фактория, видимо, близко. Вот, и тут уже, конечно, он смог дойти, и после этого одной из высших похвал от начальника этой фактории была, который говорил о том, что «ну, такой, как вы, не мог не дойти». Он был уверен, что иначе быть не могло. Вот такая была поразительная совершенно история.

Среди этих таежных сибирских переживаний было много, конечно, и вещей таких сверхъестественных, еще очень много. О них он, конечно, тоже рассказывал, хотя и не очень любил это рассказывать, но вот были тоже...

Однажды они остановились в месте, где... Они — это имеется в виду отец как начальник партии и двое рабочих. Остановились в месте, где маленькая речка впадала в большую реку. Река это Северная, которая является притоком Нижней Тунгуски. И он обратил внимание на то, что вдруг откуда-то пришла собака. Он стал готовить для собаки лепешки, с тем, чтобы ее накормить, и надо, чтобы эти лепешки остыли. Пока они остывали, собака убежала. Он удивился: что это такое? Странно, видимо, место настолько нехорошее, что даже собака от этого места ушла. Через некоторое время рабочие ушли на факторию, он оставался в палатке один и вдруг проснулся от того, что угол палатки начал бешено трястись, кто-то начал дергать за угол палатки. Он вышел, посмотрел — луна, белый снег, никого вообще в принципе рядом нет. Лег спать — опять начинается, дергается угол, но потом прошло. Второй раз это произошло, когда были рабочие. Он разбудил рабочего, сказал, что вот — не слышишь разве — дергается? Тот закурил, говорит: мало ли что, вам приснилось, ничего страшного. Вдруг начались такие рывки, импульсы, и это именно от одного, определенного угла палатки. Они вышли с рабочими — опять никого совершенно вообще нет. Потом рабочие опять пошли на факторию, и тут случилась как раз эта самая страшная ситуация, когда... Отец проснулся от резкого толчка в плечо. Проснувшись, он увидел над собой нависшее страшное лицо, желтое, монголоидное. Он всеми силами, которые у него были, пытался отогнать от себя это лицо, [оно] стало переходить в фиолетовое — отец говорил: перешло в ультрафиолет, — и исчезло в том самом углу, в котором все это тряслось. Он почувствовал, что это была страшная, смертельная опасность, и когда через некоторое время туда пришли звенки, звенки посмотрели на это место и говорят: тоже, выбрали место! Это, говорят, место, где хоронят шаманов, здесь нельзя останавливаться, в этом месте.

Вот. Но он говорил о том, что вот этот удар в плечо, который его спас, потом он еще раз повторялся, потому что ситуация была похожая, — похожая в смысле опасности, но совершенно рациональная, — когда рабочий в шестидесятиградусный мороз забросил в печку бересту, — то есть, не забросил в печку бересту, а просто зажег, береста уже была подготовлена, — и закрыл дверцу. Захлопнул, зарылся в спальный мешок, чтобы немножко просто прийти в себя и немножечко согреться. Но, закрыв дверцу, он не заметил, что головня выпала вниз на кучу бересты, которая стояла внизу. Отец проснулся от резкого удара в плечо, и увидел, как загорелась вот эта вся береста, еще минута — да какая минута, несколько секунд! — и от палатки бы ничего не осталось. Он бросил как раз именно туда то ли какой-то брезент, то ли что-то в таком духе, огонь потушил... И он тоже как раз говорил о том, что это тот самый случай, когда в плечо его ударила какая-то сила, которая его таким образом пробудила.

Так что вот такие вот истории сопровождали его на протяжении всей этой эпопеи. Когда он читал Джека Лондона, он все время вспоминал свои вот эти таежные дни и поражался: какой, говорит, Джек Лондон великий художник, настолько он все это так здорово, точно описал, и вот эта фраза Джека Лондона о том, что как раз в этом «белом безмолвии» человек видит Бога, она ему очень близка. И он, я помню, даже в одном из рассказов Джека Лондона именно подчеркнул это карандашом: да, действительно, в белом безмолвии человек видит Бога...

Пересмотр «пулковского дела»

Мне приходилось держать в руке письмо, которое написал Григорий Абрамович Шайн, директор Крымской обсерватории, в 39-м году старшей сестре Николая Александровича и моей тетушке Юлии

Александровне. В этом письме он ее заверял в том, что при первой возможности, которая только представится, он обязательно будет ходатайствовать о пересмотре «пулковского дела». Он в этом письме написал, что, говорит, на ближайшей сессии Академии наук я постараюсь встретиться с Вышинским, но это очень трудно, потому что его постоянно сопровождает охрана. Помню эту фразу из письма. Ситуация стала более благоприятной, когда президентом Академии наук стал Сергей Иванович Вавилов. Когда он стал президентом, то Шайн сказал ему: «Поздравляю вас, вы приняли на себя все грехи мира сего». И вот тогда уже не собственно Шайн, а вместе с Вавиловым, именно под его именем, начались попытки пересмотра «пулковского дела». Однако к тому времени уже очень мало кто остался в живых. Да практически никого и не осталось кроме отца, и еще такой был физик Юрий Александрович Крутков, выдающийся человек, который встречался с Эйнштейном, лично с ним беседовал — вот он тоже оставался еще живым в то время — фактически только двое. Крутков потом умер, когда в 49-м году был повторный арест и он был арестован. [Но тогда] он тоже вышел из заключения.

И тогда вот начался пересмотр этого дела, и в 45-м году отец был этапирован в Москву. Хотя этапирование было, действительно [ужасным] — само явление, безусловно, позитивное, и было ощущение, конечно, надежды, и счастья, и приближающейся свободы. Но [этапирование] было очень тяжелым, потому что эти столыпинские вагоны 45-го года представляли собой, конечно, чудовищный кошмар, когда в одно купе заталкивали больше, чем 20 человек, когда если рука оказывалась не совсем прижатой к телу, то от руки после, допустим, перегона Новосибирск-Омск могло остаться только подобие этой руки. То есть такие сложные были вот эти перегоны. Но в результате, когда вот он оказался в Москве, — он оказался в Лубянской тюрьме — и с мая 45-го года начался вот этот период, когда следователь работал над пересмотром дела. Причем начальник как раз этой работы, следователь, звали его тоже Николай Александрович, Богомолов его фамилия, поставил вопрос: либо вы будете с нами сотрудничать, именно в агентурном плане, либо вы возвращаетесь обратно в Норильск. Отец решительно сказал, что это невозможно, ваше предложение, и был уверен в том, что все течет обратно вспять. Следующий допрос прошел как ни в чем не бывало, и более того, в конце допроса следователь угостил его папиросой и сказал: «Сильно ли вы испугались?» Был такой вопрос. После этого уважение как раз следователя к отцу возникло очень серьезное, и возник некоторый такой даже позитивный контакт, в результате он пытался даже действительно найти самые моменты, из всего предшествующего периода, которые позволили бы составить положительный взгляд НКВД — заключение. Но в это время как раз — 1945 год, на Лубянке было очень много самых разнообразных людей в одной камере — поскольку это были не одиночные камеры, как правило, это было два человека, иногда три человека, но чаще всего два. С ним вместе сидели самые разные люди, начиная от немецкого консула, который оказался уже не столько в результате военного ареста, — я уже точно не помню этой истории, — но он был просто привезен специально, на основании того, что он работал в свое время, еще до гитлеровской власти, консулом Германии в Ленинграде. С этим человеком интересным он сидел вместе в тюрьме. Сидел вместе в тюрьме с Сергеем Эрнестовичем Радловым, который был доставлен прямо из Парижа, приехал выдающийся наш режиссер театральный. С разными другими людьми — много прошло через него интересных людей. В 46-м году было завершено дело по реабилитации, [...] причем это была не реабилитация, это был пересмотр дела, в результате которого возникло двусмысленное заключение: сохранился запрет на жительство в крупных городах, но после этого было приписано просто от руки: «за исключением только проживания в Ленинграде и в Крыму». Такое было, это была приписка такая. По всей видимости, это такая тоже достаточно чудесная вещь — на эту приписку потом с удивлением смотрело местное НКВД и местное КГБ — обычно такого в принципе не бывает, но документ остался документом. Жить в Ленинграде было ему разрешено по этому документу. Он уехал в 47-м. Наступал 47-й год, и он ехал в поезде из Москвы в Ленинград тогда, в абсолютно пустом поезде. Начинаясь новая жизнь, новый год наступал. 47-й год на него тяжелое впечатление произвел: говорит, очень страшно было, конечно, в городе. Тяжелое впечатление производили люди все одетые в эту чудовищную однообразную одежду; впечатление тяжелое производил город... [Он] встретил своих старых знакомых, нашел... В первую очередь пришел к матери своего друга Дмитрия Ивановича Еропкина, который был расстрелян в Вологодской области, в тюрьме в городе Грязовце, он вместе с ним был арестован. И Зинаида Дмитриевна — дочка Завалишина, декабриста. Отец рассказывал, что в 47-м году было очень так удивительно! [Она говорила,]

что «Вы не представляете, как немцы бомбили Фонтанку! Видимо, у них были неправильные планы. Там были казармы, из которых мой папа выводил солдат на Сенатскую площадь». В 47-м году слышать такое было, конечно, очень странно. В общем, очень мало кого из своих старых знакомых он мог там встретить, хотя Гумилёв в то время уже вернулся, и они встречались, встречались до 49-го года.

” В 49-м году позвонил по телефону — Анна Андреевна взяла трубку... «Можно Льва?» — «Льва нет». — «А когда Лев будет?» — «А Льва не будет», — ответила Анна Андреевна. Все стало ясно. 49-й год — шли повторные аресты.

В этом 49-м году отец оказался на сессии Академии Наук в Москве. И с удивлением увидел, как под ручку с каким-то пожилым старцем-академиком идет его следователь, который вел его дело. Проходя мимо, он видел, как тот глазами показывает ему в сторону. Отец отошел в сторону, закурил, тот подошел, как бы прикуривая папиросу, и сказал: «Вам ни в коем случае нельзя быть там-то, там-то и там-то. В этих местах на вас готовится дело». Отец сказал: «Как я вам за это благодарен». Следователь говорит: «А я вам благодарен за то, что вы увидели во мне не просто следователя». Таким образом, фактически он в 49-м году избежал второго [ареста], то есть той судьбы, которая была уготована всем так называемым повторникам.

Сохранились письма Гумилёва, которые он писал уже из ссылки, потому что Гумилёв был арестован, а потом он был в Омске в ссылке до 57-го года — даже не до 56-го, а до 57-го там задержался. Я помню некоторые из этих писем, где он писал, что надо не резонерствовать, а резонировать. Я эту фразу запомнил замечательную. Но в целом повторно их отношения уже не сложились, особенно когда начался серьезный конфликт между ним и Анной Андреевной, отношения и с отцом и у Льва Николаевича на этом основании не задались, потому что отношения с Анной Андреевной с годами все больше и больше укреплялись. Анна Андреевна за глаза говорила: «Этого человека я называю солнечный миф». Там дальше потом тоже жизнь их несколько развела. Ну вот, пока хватит.

Пересылки заключенных между тюрьмами

В этом в страшном Орловском центральном — точнее, не в Орловском, а в Дмитровском центральном, порядок был предельно жесткий. Допустим, когда заключенных иногда выводили на прогулку — как понимаю, это было редко, — у них запрещали смотреть по сторонам, они должны были двигаться по лестнице в одном направлении. И при движении по лестнице взгляд упирался в правила внутреннего распорядка тюрьмы. И внизу была подпись: «генерал-майор Вайншток». И один раз, когда, во время очередного движения — отец рассказывал: «Я увидел, что эта подпись затерта. Исключена. Я понял, что действительно наступают какие-то новые времена, но хуже не будет». Появилась какая-то надежда на то, что может быть из этого ада какой-то выход. Собственно, он и наступил, потому что через некоторое время — это тоже был 39-й год — большинство из них собрали и стали из тех, кто мог двигаться, собирать партии и отправлять в основном в Сибирь. Так вот он оказался сперва в Красноярске. В Красноярске он в пересыльной тюрьме встретился как раз с Юрием Александровичем Крутковым, который тоже потом выжил. Там произошла сцена, довольно любопытная — в том смысле, что Круткову каким-то образом удалось сохранить свою шляпу. Эту шляпу уголовник схватил. И потом на требование вернуть говорил, что это шляпа его. Тогда собрались все заключенные, и Крутков сказал: «Я знаю, что написано за подкладкой, а он не знает, раз я знаю, то это шляпа моя». И так сказать все — как бы такая иерархия зоны, для них это было большим развлечением, и они торжественно ему эту шляпу потом вернули. Он как раз рассказывал, [что это было] перед тем страшным путешествием, которое началось по Енисею, потому что это путешествие было страшное, баржа была переполнена людьми, люди были, как в столыпинском вагоне, сжаты, в полной темноте и в полном зловонии. Это движение на этой барже было от Красноярска, от этого их главного пересыльного пункта, движение тогда до — если я правильно помню — до Дудинки.

Да, Дудинка, потому что она находится на Енисее, Дудинка, и Норильск — он немножко в сторону [от Енисея]. Страшная железная дорога — один раз ему пришлось эту железную дорогу из Дудинки в Норильск [...] таким образом преодолеть: это была зима, — я сейчас точно не помню обстоятельств, которые сопровождали это путешествие, но его направили с каким-то обвинением в Норильск. Потом это обвинение было снято, но в связи с этим он ехал на платформе под открытым воздухом, вместе с какими-то людьми, как он говорил, бытовиками, которые тоже находились в этом положении: лежать вниз головой, и конвоиры стояли со штыками обнаженными, направленными как раз на заключенных. Эта, говорит, сцена, мне в кошмарах — когда я, говорит, мне кошмар — вот эти штыки направлены. Это я, говорит, помню. Когда приехали в Норильск, этих ребят сразу расстреляли, я, говорит, не помню, по какой это было статье. Но в тот момент выяснилось, что вот это конкретно [его обвинение] было недоразумением: это дудинское какое-то начальство, которое... я сейчас уже не помню — но в Норильске это сняли. Но было очень страшно, он рассказывал, в каких условиях он путешествовал по этой дороге.

Освобождение. Судьбы родственников

Выход его из Лубянки, из московской тюрьмы 46-го года, сопровождался почти анекдотическим случаем, когда к его тетушке, Елизавете Николаевне Рогожиной, жившей в московской коммуналке, пришел представитель органов безопасности, и она чуть не упала в обморок от страха. Сказал: «Не пугайтесь, у вас есть такой племянник?» Она сказала: «Да, есть». Он сказал: «Подготовьте ему одежду, потому что у него одежды нет, послезавтра он придет, и вы должны его встретить». Ну и вот так, начиная с этой коммуналки тети Лизы, потом он приехал в Ленинград, жить было негде, поскольку вся семья была в ссылке. Он нашел домработницу родителей, эстонку, Лину, которая жила в коммуналке в маленькой комнате порядка пяти метров. Она его пустила к себе и, естественно, он спал на полу, и на полу в этой самой коммуналке он написал свою докторскую диссертацию, которую защитил [очень быстро ее написал]. Естественно, материалов у него... Насчет материалов я точно сейчас сказать не могу, кое-какие материалы вроде бы передал, нашел способ передать из Сибири, я не буду сейчас об этом говорить, — точно не знаю. Большинство он, конечно, хранил в голове, и быстро-быстро все это восстановил и в 47-м году защитил диссертацию. А потом ему удалось из ссылки свою семью вернуть в город, и тогда у них получилось вот эта комната — большая комната в коммунальной квартире на Васильевском острове, в том здании, где сейчас Институт естествознания и техники располагается. А тогда это был жилой дом, и тогда вот одна из комнат, как раз там жили до 55-го года, а в 55-м году уже получили квартиру на семью — не получили, отец получил квартиру, на улице Фрунзе располагалась эта квартира. Тогда, по-видимому, коммуналки эти расформировывали, то ли под музей, то ли под какие-то вот такие дела, на Васильевском острове.

Что касается Елизаветы Николаевны Рогожиной, то она была очень хорошим человеком. Как сейчас помню, что она не могла смотреть на распятие. Когда она смотрела на распятие, она сразу плакала. Она не могла смотреть на муки Спасителя. Как сейчас помню. Меня тогда это в детстве поразило: как это все-таки человек, столько лет, и все равно так вот не может смотреть. А достаточно молодой она вышла замуж за человека из купеческого сословия Самары (сама она тоже принадлежала к семье Шихобаловых, в общем-то достаточно влиятельной в Самаре), по фамилии Рогожин. Это произошло летом 17-го года. Летом 17-го отец моего папы, мой дед Александр Адрианович Козырев понял, что надо семью из Петрограда увозить, поскольку после июльских событий он сразу понял, чем июльские события чреватые. Он взял их, они были на даче, он всех собрал, сказал, что мы из этого города уезжаем, и уехали они в Самару. Там была как раз эта свадьба Елизаветы Николаевны и Рогожина. Во время свадьбы отец как маленький мальчик, шедший впереди — я не помню, то ли со свечой, то ли с чем-то еще... Там, надо иметь в виду, что волжские свадьбы еще были немножечко специфичны, по своему такому народному там... какие-то были специальные еще моменты. В общем, он споткнулся и упал. Тогда считали, что это дурной знак, — в принципе, так оно и случилось. Потому что Рогожин уже сразу же уехал при наступлении революционных событий, и исчез. Через некоторое время он объявился, уже будучи очень состоятельным человеком, миллионером, в городе Сан-Паулу в Бразилии. Там он оказал очень большое влияние на развитие этого города и, когда его жена умерла, то он написал Елизавете Николаевне письмо

с просьбой, что приглашаю, все-таки давай восстановим отношения через — сколько там? — 55 лет. Но Елизавета Николаевна не решилась все-таки на это, хотя всю жизнь не выходила замуж и хранила его фамилию, имела фамилию Рогожина. Вот такая вот история... Что еще с Елизаветой Николаевной вспомнить? В этой семье вообще было много, в общем-то, несчастий... Юлия Николаевна единственным человеком была, у которого были дети. Елизавета, младшая дочка, не могла, не вышла замуж, средняя дочка пошла добровольцем, сестрой милосердия на Первую мировую войну и там заболела какой-то страшной болезнью вроде костного туберкулеза и, возвратившись, оказалась парализованной и до 29-го года в парализованном состоянии находилась. А брат пошел добровольцем, будучи студентом Технологического института, в армию, в 15-м году, оказался в Экспедиционном корпусе во Франции, обратно не вернулся, и следы его потерялись напрочь. Не знаю — жив он, когда он умер, что с ним произошло — об этом не знает никто. Дмитрий Николаевич Шихобалов. Так что в этой семье, в общем, так не все сложилось хорошо. Как и во многих семьях тех времен.

Что касается семьи непосредственно папиной, то есть его матери Юлии Николаевны Шихобаловой, его сестер, то они, в общем-то, разделили, конечно, горькую участь, потому что они были сосланы, им было приказано в короткое время собирать вещи и отправляться в ссылку после ареста. Правда, перед этим было поставлено условие Юлии Николаевне, что этого можно избежать, если она официально отречется от арестованного врага народа. Она сказала, что от таких сыновей не отрекаются. И они были направлены в ссылку в Самарканд. Отец в то время был женат на дочке пулковского астронома Кожина, Вере Николаевне Кожиной. Их сын — старший брат мой, Александр Николаевич Козырев. Они были фактически в разводе. То есть достаточно долго не жили и, в общем, было тут ясно, что брака как такового не было.

” Но отец говорит: «Для меня это абсолютная загадка, что это такое, я не понимаю». Но она не отказалась. Не написала отречения. Хотя от нее тоже требовали. Но для нее это был арест. Она была арестована и оказалась в лагере в Сибири.

Через некоторое время она освободилась и местный начальник, представитель органов власти, сделал ей предложение — официальное предложение именно, — и она согласилась, и вышла за него замуж, за этого человека, за этого начальника, и перевезла туда Сашу, своего сына, которому было тогда 12 лет. Саша не выдержал и бежал. В военное время он бежал через всю страну, чтобы найти бабушку. С этими самыми, с бездомными, с беспризорниками, так он через всю страну, из Сибири бежал, а они были в ссылке в Чистополе. Дальше он добрался до Чистополя, спрятался и прыгнул на бабушку сзади, что вот, это я вернулся. Такая была история у него, у Саши. <...> То есть для отца всегда была психологической загадкой вот именно ее стойкость, вот именно в такой момент, когда ничем не мотивированная верность уже была. Поэтому всегда, когда была [возможность], он ей материально помогал; в дальнейшем ее сильно поддерживали те деньги, которые он время от времени ей посылал. Он говорил: «Я не могу отказать ей». И никогда ей не отказывал. Жила она в Луге и там же умерла .

Семью направили сперва в Самарканд, и она там была, они были в ссылке в Самарканде, достаточно долго. А потом — это уже где-то было уже в конце войны — их перенаправили в Татарию, в Чистополь. Что, в общем, было достаточно благоприятно, потому что целая ветка нашего рода располагается в Казани — там были родственники, значит. Достаточно любопытный момент, потому что там были потомки Михаила Адриановича Козырева, брата дедушки, родного дяди моего отца. Там были двоюродные братья отцовские, и Евгений Михайлович, и Борис Михайлович. Михаил Адрианович был юристом. Александр Адрианович был геологом, а Михаил Адрианович был юристом. Во время гражданской войны он был помощником Соколова, и там поучаствовал в деле, помогал Соколову в расследовании убийства царской семьи. Но он никуда не уехал, остался. Правда, кружными путями, как бы от советской власти спасаясь там через Ашхабад, в разных местах он так был... Но он, как говорится, вовремя умер, в 23-м году, и его не репрессировали. Но умер он в Казани, женившись

на казанской женщине, казанские родственники до сих пор у нас существуют. Поэтому то, что их переселили туда, поближе к Казани, была ситуация благоприятная, да, для семьи. И Саша, фактически, зная, что они в Чистополе, — он не знал, где Чистополь располагается, знал только, что Чистополь находится где-то на Западе. Это слово: Чистополь-Чистополь-Чистополь. Он бежал, и ему указывали, помогали, хотя были случаи, когда его чуть было не посадили в этот самый, к беспризорникам, но ему удалось оттуда как-то убежать. В общем, там ситуация была такая — сложная. Такая была история.

Друзья Н.А. Козырева

Среди ближайших друзей папы в первую очередь был Владимир Георгиевич Бер. Он прямой потомок того самого генерала, который был отставлен за трагедию Ходынского поля. Владимир Георгиевич Бер — удивительный человек, который тоже очень много там пережил, обладавший невероятной теплотой и глубиной души и возможностью быть самим собой. Он был всегда носителем удивительной совершенно музыкальной культуры. Такое было впечатление, что этот человек входит, и в нем все время слышится музыка. Он был ближайшим другом отца, и его смерть, которая была где-то в 70-м году, отец переживал очень тяжело, конечно. Они вместе были в лагере. А дальше Владимир Георгиевич был вместе в ссылке с Олегом Васильевичем Волковым. Оттуда дружба отца с Олегом Васильевичем. Он сохранял дружбу и с Бером на протяжении всей своей жизни, и Олег Васильевич очень часто как раз бывал у нас дома, он как раз и познакомил отца с Солженицыным. То есть получилась вот такая история.

В последние годы [у отца] теснейшая была дружба с Дмитрием Алексеевичем Толстым. Он его знал еще даже до ареста, но тогда Дмитрий Алексеевич был еще маленьким мальчиком — сколько ему там, 23-го года рождения, — тогда отец дружил с его братом старшим, Федором Федоровичем Волькенштейном, приемным сыном Алексея Николаевича Толстого. В дальнейшем они сохраняли знакомство, но дружбы как таковой уже не было. Дружба, тесная близость духовная, была как раз с Дмитрием Алексеевичем. Как раз он поражался тому, как у Дмитрия Алексеевича естественным образом его духовные искания перешли в религиозные искания. Он как раз говорил: «Я вам даже завидую, потому что мне нужно было кол на голове тесать, для того, чтобы прийти к какой-то божественной правде, а у вас все это получилось очень легко». Дмитрия Алексеевича жена, она как раз, что тоже поразительно, имела косвенное отношение к роду Шихобаловых.

Из рассказов Федора Федоровича Волькенштейна папа мне привел следующий рассказ. Алексей Николаевич Толстой, когда женился на Наталье Васильевне Крандиевской, очень хорошо относился к Федору Федоровичу и признавал его как своего старшего сына постоянно. Отец все время, кстати, напоминал о том, что Наталья Васильевна ему рассказывала, что в тот день, когда она поняла, что жизнь кончилась, что впереди ничего уже, собственно говоря, нету, все завершилось, в тот день вечером ее подруга пригласила ее на вечер, где она познакомилась с Алексеем Николаевичем Толстым. Вот это настроение обычно является знаком чего-то нового, и нужно его именно так воспринимать.

Она также рассказывала о том, что Алексей Николаевич, когда писал, не мог писать, если на столе не стоял букет свежих роз. Наталья Владимировна всегда их ставила.

В связи с тем, что он его действительно очень ценил, он его водил по московским кругам — Алексей Николаевич водил своего пасынка. И один раз они вместе были в гостях у Горького, где было много народу. В большой квартире была достаточно шумная и разнородная немножко компания, и чтобы эту разнородность пресечь, пришел человек в мундире и со списком, кто может остаться, а кто должен немедленно покинуть квартиру, потому что сейчас сюда придет Сталин и Ворошилов. Когда они пришли и сели за стол, то за столом воцарилась мертвенная тишина, особенно контрастирующая с тем, как было весело до этого. Сталин спросил Горького: «Алексей Максимович, что нового в литературе, я в этой области порядком поотстал». Горький начал что-то невнятное бормотать, и тут Федор Федорович: «Что-то, говорит, у меня просто возникло резкое желание, которое я не мог сдерживать. Я встал и произнес тост: «Предлагаю тост за Сталина-"отсталина"». («Отстал»!) Воцарилась тишина; и я помню взгляд Алексея Николаевича, на себя направленный. Эту тишину прервал Сталин, обращаясь к Толстому: «Ну, этот у тебя

далеко пойдет»».

Надо сказать, что получилась какая-то удивительная ситуация, что в дальнейшем эта такая, скажем так, родовая переключка выразилась в том, что Федор Федорович уже в 50-х годах один раз, когда ехал на машине, увидел женщину, которая не могла справиться с неполадкой автомобиля. Он вышел из машины и ей помог; они познакомились. Это вот оказалась Светлана, с которой в дальнейшем они продолжали отношения, и эти отношения перешли на Дмитрия Алексеевича. И я помню, как в этой семье было — они демонстрировали письма Светланы уже из эмиграции. Помню одно письмо, в котором было написано: «Бойтесь антропософов и колдунов, через них все мои несчастья». В письме было написано.

Б.В. Нумеров и «пулковское дело»

В биографии, которую написал Александр Николаевич Дадаев, есть некоторая двусмысленность по поводу публикации «пулковского дела». Двусмысленность отчасти связана с тем, что потомки директора Института теоретической астрономии, Бориса Васильевича Нумерова, всячески пытаются восстановить его доброе имя. Он погиб, конечно, мученически: в 41-м году всех заключенных в Орле расстреливали, при приближении немецкой армии. Однако вопрос все-таки остается вопросом. Учитель папин, выдающийся наш ученый, астрофизик Аристарх Аполлонович Белопольский, говорил, что Нумеров всем прекрасен, но он слишком крепко стоит на ногах. Слишком крепко стоит на земле. Вот за несколько лет до 36-го года отца пригласили на Лубянку — не на Лубянку, а у нас, в Большой дом — и вели разговор. Это не было, собственно, приглашение к сотрудничеству, это был какой-то странный разговор вообще о ситуации: «Расскажите нам о ситуации в научной среде». Но он понял, что они в основном пытаются подкопаться под Нумерова. Сразу после этого он прямо поехал к Нумерову и предупредил об опасности. Ну, и одно из показаний Нумерова в 36-м году было то, что он ему потом сказал такое. Но отец говорил: «Где-то прошло, то есть я это знаю, что это он составил все списки контрреволюционной организации. Под пытками или не под пытками, это другой разговор. Вот у меня, впечатление, что нет, там пыток никаких не было. Что он просто пошел на некоторые формы сотрудничества ради того, чтобы как-то из этой ситуации выйти. Поэтому он расписывал, кто кому что передал, какие фашистские листовки они там распространяли и так далее. Все это нумеровские тексты. Единственное, я категорически был против, когда следователь говорил: «Вы передавали портфель немецкому дипломату»». Говорит: «Я подпишу все, кроме этого немецкого дипломата. Немецкого дипломата не было!» Потому что, говорит: «Я понимал, насколько это отяжеляющее... в общем, какая-то гиря нависает на меня». Следователь там, значит, ему говорил: «А чемоданчик-то вы все-таки отнесете дипломату!» Отец говорил: «Не отнесу». Разговор был такой: «Чемоданчик вы все-таки отнесете дипломату». — «Не отнесу».

Сейчас уже трудно восстановить эту ситуацию, но отец рассказывал, что он видел в одной из камер, куда его переводили, перевозили, человека, похожего на анатомическое чудо — после допроса. Вот он говорил, что это [был] какой-то достаточно известный летчик, фамилию которого можно было встретить в газетах. Нумеров написал, что он отдавал этому человеку приказ убить Сталина. Лично этого человека не зная, взяв просто из газет. Ну, отец говорит, что «вот я помню лицо этого человека, хотя мне и жалко [Нумерова], но я так считаю, что Нумеров совершил преступление». Именно так он к этому и относился. Потому что «я, говорит, помню этого истерзанного человека». Ну, а дочери Нумерова проводили страшную истерику, никоим образом ни одного порочащего слова об отце не пускать. [В рассказах различных людей об аресте Нумерова] очень многое расходилось, и отголоски этого [попали] даже как раз в эту самую последнюю биографию [отца] Александра Николаевича Дадаева — как будто бы даже это Бронштейн, как будто бы чуть ли Бронштейн все это написал. Да. Только вот это ложь. Бронштейн пережил, конечно, чудовищные пытки, потому что фамилия у него была такая же, как у Троцкого, и он один раз пошутил, что он племянник Троцкого. За эту шутку как раз он и получил. Это первый муж Лидии Корнеевны Чуковской. Он был очень добрый человек и — там просто няня потом вспоминала: «Я ни у кого не видела таких добрых глаз, как у твоего Матвея Петровича». Стихи писал, я даже некоторые помню, такие, так сказать, — немножечко шутил, описывая их астрономическую жизнь.

Это была все вот одна компания астрономов. Их было пятеро человек: насколько я понимаю, Амбарцумян, Дмитрий Иванович Еропкин, вот отец, Бронштейн и Гамов, который потом уехал в Америку, и вот — выдающийся физик, ну, фактически автор теории расширяющейся Вселенной, можно сказать, — Георгий Антонович, он тоже как раз с ними там был. Ну, еще там был Ландау, который, в общем, тогда уже, в юности, проявлял себя как бешеный, неумный, горячечный атеист, и, в общем-то, в основном как раз благодаря опасности, что вот Ландау придет, и икону увидит, и ему будет неприятно, он [отец] эту икону и снял как раз.

Ясность по отношению к [причинам этих событий вносит дело Рамзина]... Да, вот тогда говорили про Рамзина, что Рамзин — он написал список контрреволюционной организации и сам получил орден Ленина. Как писал Солженицын, что это бенгальский огонь предательства [нрзб]. [Похоже, что он всех, кого в жизни знал, вписал в контрреволюционный список] По всей видимости, это был тот образец, который Нумерову предложили, но это время уже было другое, это был уже не 34-й год, это был уже 36-й, и он разделил судьбу всех.

Он человек очень яркий был. Заняв должность в Институте теоретической астрономии, он задал вопрос, сколько существует методов центрирования цапф. Ему сказали: «Шесть». — «Шесть? Значит, ни один из них не годится. Сейчас я придумаю новый». Сел, придумал, который до сих пор, в общем-то, является методом Нумерова. Человек очень такой — решительного такого плана. Таких сейчас вроде как бы и нет. <...> Так что, к сожалению все тайное становится явным.

В одной из работ ленинградского писателя Сергея Снегова, который хорошо был знаком с отцом, который написал несколько таких интересных литературных эссе, посвященных его работе и его судьбе, есть досадная ошибка: там перепутан Нумеров и перепутан Герасимович. Герасимович Борис, по-моему, тоже Васильевич*, был директором Пулково, и у него был очень тяжелый конфликт с отцом — Герасимович очень хотел его уволить. Весь 36-й год перед арестом это была, собственно говоря, трудная ситуация, что-то такое там — суд, восстановление и так далее. Он был арестован, Герасимович, сразу же после отца и расстрелян достаточно быстро. То есть совершенно другой человек. И у исследователя наложилось: два Бориса. А в 36-м году, даже в 35-м, в Луге на вокзале к отцу подошла цыганка, молодая, достаточно симпатичная цыганка, о чем-то они поговорили, и когда расставались, она вдруг обернулась и крикнула: «Бойся человека по имени Борис!»

* Петрович

По этому делу были привлечены не только пулковские астрономы. Поэтому понятно, что Нумеров, он в Пулково не работал, он был директором Института теоретической астрономии. Другая организация. Поэтому он активно вписывал туда самых разных знакомых ему людей. В частности, был такой Фредерикс, который был племянником министром двора Фредерикса, он физик был, достаточно такой интересный, перспективный. Он тоже был арестован. Они все встретились как раз в момент, когда оглашался приговор. Когда оглашался приговор, их всех собрали из камер. И отец запомнил, что кто-то сказал Фредериксу: «Поздравляю вас с женитьбой». А он женился перед арестом. Он сказал: «К сожалению, ваши поздравления немножко запоздали». Точное число я сейчас сказать не могу, но отец говорил, что там их было несколько десятков, там шел разговор именно о... порядка ста человек. Вот он мне говорил, что [Юрий Александрович Крутков], так он в 49-м году умер в тот момент, когда стало ясно, что его арестовывают. Сердце остановилось просто у человека.

Отец говорил, что когда шли первые допросы, следователь зачитывал передовицы из газеты «Правда», где было написано о злодействе бухаринской банды. Как они толкли стекло и подсовывали детям в детские сады. На лице следователя было искреннее негодование, он потрясал кулаком и говорил: «Вот гады!» Так что такой способ был воздействия тоже на представителя «фашистской организации», хотя, конечно, все было ясно, что все это, в общем-то, сочинялось на ходу. Но это какое-то двоемыслие — по всей видимости, вот в этот момент он был искренен: на его лице было искреннее негодование.

Текст авторизован Д.Н. Козыревым.

